

Глава первая Переворот в науке²

Неожиданный успех. – Ученый ареопаг. – Авторитет Кювье. – Движением ума управляет сердце. – Ход философских учений. – Сила фантастических понятий. – Учение Кювье о постоянстве видов. – Теория Дарвина. – Отрицание явлений. – Главное возражение против Дарвина. – Естественная смерть. – Европейский нигилизм.

I

В первых строках этого сочинения Дарвин удивляется успеху, который имели его взгляды на изменение видов и их происхождение одних от других; он никак не ожидал, что его теория одержит такую легкую победу над противоположными воззрениями, которые господствовали прежде.

«В продолжение многих лет», говорит он, «я собирал заметки о происхождении человека без всякого намерения печатать что-либо об этом предмете, – скорее с *положительным намерением не выпускать моих заметок в свет*, так как я полагал, что они могли бы только усилить *предубеждения, существовавшие против моих взглядов*» (с. VII).

Эти предубеждения не состояли из одних предрассудков и мнений людей, чуждых науке и почему-либо питавших известные понятия о происхождении видов; главное препятствие для Дарвина, как мы сейчас увидим, состояло в учении, господствовавшем у самих натуралистов. Сама наука сознательно, твердо и ясно испове-

довала учение, прямо противоположное тому, которое выставил Дарвин.

«Теперь», замечает Дарвин, «дело приняло совершенно другой вид. Если такой естествоиспытатель, как Карл Фогт³, решается сказать в своей речи в качестве президента Национального Института в Женеве (1869): *personne, en Europe au moins, n'ose plus soutenir la création indépendante et de toutes pièces, des espèces* (никто, в Европе по крайней мере, не осмеливается уже поддерживать, что виды созданы независимо и целиком), то ясно, что, по крайней мере, значительное число натуралистов должно уже признавать в существующих видах видоизмененных потомков других видов» (с. VIII).

Слова знаменитого Карла Фогта кажется всегда бывают таковы, что их приходится немножко поправлять. И Дарвин исправляет, замечая, что *никто в Европе* значит собственно не никто, а только меньшинство европейских натуралистов. Через несколько строк Дарвин положительно говорит, *что многие из старых и уважаемых авторитетов науки* остаются противниками всякого изменения видов. Но самое преувеличение слов Фогта, конечно, показывает, что распространение взглядов Дарвина очень велико, так что пламенный последователь их имел некоторый повод счесть за *никого* некоторые старые и уважаемые авторитеты. И вот Дарвин пишет:

«Вследствие воззрений, которые приняты в настоящее время *большинством натуралистов*,

¹ Печатается в современной орфографии по изданию: Страхов Н.Н. Дарвин // Н.Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. – СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1883. – С. 110–146). Объединяет в переработанном виде две работы Страхова – статью «Переворот в науке» (Заря. – 1872. – № 1. – Отдел II. – С. 1–18) и рецензию на «Происхождение видов» Ч. Дарвина и критическую брошюру К.М. Бэра на это сочинение (Гражданин. – 1873. – № 29. – С. 809–812) (Ред.).

² **Происхождение человека и подбор по отношению к полу. Чарльза Дарвина.** В двух томах. Перевод с английского под редакцией И.М. Сеченова. С рисунками. СПб., 1871.

³ Карл Фогт, или Фохт, (1817–1895) – немецкий натуралист и философ, один из основоположников (вместе с Л. Бюхнером и Я. Молешоттом) так называемого «вульгарного материализма». Основное сочинение Фохта «Физиологические письма» переведено на русский язык (Ред.).

и к которым вскоре, как это обыкновенно бывает, прикнет публика (other men), я решился собрать мои заметки в одно целое, чтобы иметь возможность проследить, насколько общие выводы, изложенные в моих прежних сочинениях, могут быть применены к человеку» (с. VIII).

Переворот, значит, совершился и совершился так быстро, как Дарвин и не ожидал. Он может теперь напечатать сочинение, которого положительно намеревался не выпускать в свет. Оппозиция, которой он боялся, оказалась очень слабою.

II

Вот нам пример того, как делаются дела в науках. Дарвин в этом случае судит и поступает, как настоящий ученый. Мы видим, что для него выше всего авторитет его науки, то есть естествознания. Он и теперь, и во всех других своих сочинениях, нимало не заботится о том, что говорят или говорили *другие люди*, о тех взглядах, которые существуют в других областях человеческого ума. Сила науки такова, что ей нет нужды принимать в соображение что-нибудь постороннее. Если наука решила, то *обыкновенно бывает*, что вскоре ее решение принимается всеми.

Но как же подслушать решение науки? Как мы узнаем, что решил этот верховный авторитет? Из слов Дарвина ясно, что представительство этого авторитета принадлежит *общему мнению* натуралистов. Так как нынче большинство натуралистов на стороне Дарвина, то он и считает дело выигранным. Он не говорит о требованиях науки, о ее внутренних законах, о методах и т.п.; предполагается, что все это наилучшим образом определяется большинством голосов. Каждый натуралист как бы обладает частицею авторитета науки, а вся совокупность натуралистов есть трибунал, всецело обладающий властью и силою науки.

Таким образом, Дарвин, хотя создал новую и смелую теорию, однако нимало не думает быть вполне самостоятельным, а скромно подчиняется тому авторитету, под которым живут все ученые, под которым живет и сам Карл Фогт, все отрицающий, кроме общего мнения ученых. Дарвин как бы внес свою теорию на рассмотрение ученого парламента и теперь радуется, что получил одобрение, что с ним очень быстро согласилось большинство. С заметным удовольствием он перечисляет свои авторитеты, не брезгая никем и возводя их в знаменитости. Так, в частности, по вопросу о происхождении человека от животных он говорит:

«Ламарк много времени тому назад пришел к этому заключению, которое поддерживается те-

перь многими знаменитыми натуралистами и философами; таковы Уоллес, Гёксли, Ляйэлль, Фогт, Леббок, Бюхнер, Ролле и др., и в особенности Геккель» (с. XI).

Бюхнер и Ролле⁴ фигурируют здесь, конечно, в качестве знаменитых (по-английски *eminent*, отличный) философов.

Вот небольшой, но ясный образчик тех предрассудков, которые господствуют в ученом мире. Каждый ученый воображает, что его частная наука обладает верховным авторитетом, и ему в голову не приходит необходимость согласовать добытые им результаты с некоторою общою системою, с цельным взглядом на мир. Этот предрассудок очень силен у Дарвина, который на сколько-нибудь отвлеченные и трудные философские взгляды смотрит с таким неверием и отчуждением, что даже не считает нужным говорить об них и опровергать их.

Второй предрассудок еще хуже. Ученые суеверно преклоняются пред общим мнением своих собратьев. Казалось бы, какое дело исследователю, кто как думает, кто с ним согласен и кто нет? Если он твердо уверен в своей методе и убежден в научной прочности добытой истины, то какой вес могут иметь в сравнении с этим убеждением чьи бы то ни было мнения? какой смысл – большинство или меньшинство?

В настоящем же случае дело имеет вид весьма подозрительный и странный. Ученый ареопаг, на который ссылается Дарвин, обнаружил чрезвычайную быстроту в переходе от одного мнения к мнению прямо противоположному, быстроту, которая внушает скорее всего величайшее недоверие к основательности и обдуманности ареопага. Авторитет всякого собрания подрывается, если сегодня оно решает так, а завтра – прямо напротив. И чем горячее идет дело, тем подозрительнее. А в настоящем случае дело идет именно так. Начавши с оговорок и со ссылок на всякие имена, Дарвин уже первую главу заключает такими решительными словами:

«Только наши предрассудки и высокомерие, побудившее наших предков объявить, что они произошли от полубогов, заставляют нас останавливаться в нерешительности перед этим выводом. Но скоро придет время, когда *всем покажется непостижимым, как натуралисты, знакомые с сравнительной анатомией и эмбриологией человека и других млекопитающих, могли*

⁴ Немецкий философ и натуралист Людвиг Бюхнер (1824–1899) и его соотечественник палеонтолог и фольклорист Фридрих Ролле (1827–1887) были ранними представителями так называемого *социального дарвинизма* (Ред.).

допустить мысль, что каждое животное было произведением отдельного акта творения» (с. 30).

Вот в каком положении дело. В истории наук случился факт *непостижимый* (по-английски стоит, впрочем, *wonderful*, удивительный); именно, натуралисты, хорошо знавшие сравнительную анатомию и эмбриологию, сегодня утверждали постоянство видов, а завтра, на основании той же самой сравнительной анатомии и эмбриологии, стали утверждать, что виды перерождаются. Что же случилось? Отчего произошла перемена? Из слов Дарвина ясно, что некоторый срам должен пасть или на старых, или на новых натуралистов. Или старые натуралисты в течение долгих лет не видели очевидного вывода, или новые натуралисты забыли и дурно понимают те начала, которые руководили старых и воздержали их от этого вывода. Нам кажется, что срам должен быть разделен если и не поровну, то на две части: одна падает на старых, другая на новых. Дарвин не постигает того, что думал Кювье; тут нет ничего похвального ни для Кювье, ни для Дарвина, хотя, по общему правилу, непонимающий более виноват.

III

Распутать эту историю будет очень любопытно и поучительно. Старые натуралисты виноваты потому, что они исповедовали догмат постоянства видов не вследствие ясно сознанных начал, а только вследствие великого авторитета, стоявшего за этот догмат, именно авторитета *Кювье*. Так идут дела в науках. По каким-нибудь причинам одни мнения начинают считаться ортодоксальными, а другие еретическими; тогда за правверные мнения стоит упорно и с жаром вся масса ученых, еретические же едва смеют высказываться и бывают встречаемы общим презрением.

В настоящем случае ученые обнаружили величайшее рабство перед научным преданием. Целые поколения ученых проповедовали постоянство видов, не потому, чтобы ясно видели основательность этого учения, не потому, чтобы им не приходили в голову противоположные мнения, а потому, что так сказал Кювье, и что нельзя было *сметь* говорить другое.

Мнения об изменчивости видов так легко приходят в голову, составляют такое естественное предположение, что существовали, можно сказать, всегда. Кювье в этом отношении должен был бороться с учениями Ламарка и Жоффруа Сент-Илера. Если мы вспомним, что всякий материалист, всякий пантеист, всякий человек, отвергающий сверхъестественное вмешательство в порядок природы, должен был прийти, так или

иначе, к учению об изменчивости; если вспомним, что таких людей между натуралистами всегда было множество, большинство, то нельзя не удивляться, как они могли покориться учению, противоречившему всем их стремлениям, всем поползновениям их мысли.

Но если так было, то мы понимаем, почему реакция должна была наступить вдруг, внезапно. Учение Кювье не было разрушено постепенными изысканиями, новыми фактами, новыми открытиями, уяснившими его несостоятельность. Оно пало вдруг, как падает мнение, которое держалось верою, а не научными основаниями. Факты не изменились, сведения наши не расширились; но появилось новое мнение, новая вера, и старое учение должно было уступить место. Быстрота, с которой теория Дарвина набрала себе последователей, вовсе не соответствует ее внутреннему достоинству. Главная ее сила состоит в некоторых остроумных гипотезах относительно самого процесса изменения видов; но вовсе нельзя сказать ни того, чтобы она доказала это изменение, ни того, чтобы она его объяснила. Следовательно, приверженность новых натуралистов к этой теории зависит вовсе не от научной ее силы; она точно так же зависит от посторонних причин, как и прежнее общее убеждение натуралистов в неизменности видов. Вот факт, как нам кажется, очень ясный и очень любопытный. Движение наук и перевороты, которые в них происходят, зависят не от внутреннего их развития, а определяются влияниями из какой-то другой области. Учения господствуют и исчезают, управляемые силою более могущественною, чем наука.

Если постоянство видов есть мысль *непостижимая*, противоречащая всему духу естественных наук, не требуемая никакими их началами, то подумайте – кто впал в такое заблуждение? Впал Кювье, натуралист, которому подобного не найти, гениальный исследователь природы, который один создал три науки: естественную систему Зоологии, Сравнительную Анатомию и Палеонтологию. Если такой ученый в существенном пункте подчинился постороннему влиянию и отступил от прямого пути науки, то на каком основании мы станем доверять свободе и беспристрастию ума Дарвина, Фогта, Геккеля?

Если изменчивость видов есть истина (как это мы и думаем), то почему же она не уяснилась постепенно, почему была упорно отвергаема, хотя провозглашалась беспрестанно? Почему прежде не принималась нисколько, а теперь принялась слишком легко?

Не наука сделала этот шаг, а помимо естествознания изменились нравственные и философские понятия людей: вот причина успеха Дарвина.

IV

Движение идей вообще вовсе не совершается по самобытным логическим правилам, как это постоянно утверждают немцы, а получает направление от нравственной стороны человека. Ум есть сила чисто формальная, бессодержательная, и потому способная двигаться по всевозможным направлениям, образовывать бесчисленные понятия, бесконечные сочетания мыслей. Как в пространстве возможны всякие фигуры, так и в уме возможны всякие мысли. Логика и психология, подобно чистой математике, изучают формы и законы этих фигур, но не могут ничего сказать о действительном содержании человеческих умов, точно так как чистая математика ничего не знает о настоящих, вещественных телах и явлениях.

Пусть перед нами какой-нибудь предмет, какое-нибудь зрелище. Мысли, которые он в нас возбуждает, не определяются ни свойством самого предмета, ни какими-либо общими законами движения мыслей. Эти мысли определяются нашими внутренними свойствами. В человеке печальном самая веселая картина возбуждает ряд печальных мыслей; один и тот же предмет возбуждает и злобу и радость, и высокую мысль и низкое желание. Психология, определяющая законы, по которым сочетаются представления, допускает возможность бесчисленных сочетаний и не может определить, которое из них случится в действительности.

То, что думает человек, не есть объективная истина, независимая от его натуры, а есть именно то, что ему *хочется думать*. Вот закон, объясняющий образование человеческих убеждений и историю человеческого ума. Мы часто удивляемся узости и односторонности иных взглядов и не понимаем, как не действуют на людей самые очевидные и многочисленные факты. В этом случае мы ошибаемся в нашем понятии об уме, приписываем ему такой способ действия, которого он не имеет. Ум никогда не видит и не обнимает всего, что ему представляется, а всегда *избирает*, руководимый чувством. Поэтому, как бы ни были разнообразны и значительны факты, которые видит человек, он замечает из них только те, которые питают его любимую мысль. Все противоречащее или упускается из виду, или только раздражает и усиливает чувство, направляющее делом. И таким образом иногда случается, что чем долее и живее действует ум, тем одностороннее и уже становятся мнения человека.

Умом управляет сердце. Мы верим в то, чего хотим, что любим, что удовлетворяет нашим нравственным потребностям. Вот где истинный корень и смысл человеческих мнений. Иногда

нас поражают удивлением те безобразные и явные нелепости, которые человечество на своем долгом пути признавало за свои святейшие и драгоценнейшие истины. Высокоумные историки последнего времени, воображающие, что сами они ходят в истине, часто представляют всю историю людей, как блуждание в ошибках, и весь прогресс этой истории, как постепенное освобождение от заблуждений. Но если мы убедимся, что сверх объективной истины мнения людей имеют другое значение, то может быть не будем так высокомерно смотреть на прошлые времена и не будем преждевременно хвалиться настоящим. И прежде были светлые и крепкие умы, может быть светлее и крепче наших; если они упорно держались самых по-видимому очевидных заблуждений, то на это были причины, имеющие свой смысл, достойные уважения и исследования. Именно фантазии, в которые верило человечество, часто не имели в себе ничего похожего на действительность, но зато всегда почти имели высокий и ясный нравственный смысл. А это прежде всего и нужно человеку. Ему нужны крайне, неизбежно, не ответы на вопросы знания, а ответы на вопросы сердца. Ему нужно решать, *что он должен делать*. Незнание не есть наибольшее зло. Самое важное дело для человека – умение различать добро от зла, умение понимать нравственный смысл явлений. Поэтому люди упорно держатся за самые явные нелепости, как скоро чувствуют, что с отнятием у них этих понятий отнимается вместе возможность некоторых нравственных суждений. Физическая природа человека устроена так, что он (например, плывя по реке, вращаясь на планете) считает неподвижной ту точку, на которую опирается, и принимает все другое за движущееся. Точно так же и требование нравственной природы: нужно, чтобы человек что-нибудь принимал за твердую нравственную опору; иначе у него голова закружится и он упадет, погибнет.

Соображая все это, мы поймем, почему ход наук имеет неправильность и шаткость, которые были бы необъяснимы, если бы им заправляла одна логика. Каждый народ и каждая эпоха *предпочитает* известные учения не в силу их логического развития, а вследствие некоторого нравственного расположения к ним. Так, англичане до сего дня остаются скептиками и эмпириками; но то же самое учение, которое в Англии имело свойство скептицизма и эмпиризма, будучи перенесено во Францию, становится материализмом и сенсуализмом, а в Германии обращается в идеализм.

Тема о национальности в науке блистательно развита Н.Я. Данилевским в шестой главе его

книги⁵. Там он указывает между прочим и на то, что теория Дарвина, точно так как взгляд Гоббса на государство и Адама Смита на политическую экономию, носят на себе печать нравственного склада англичан.

Тот же взгляд очевидно может быть распространен и на разные эпохи народа, или целой группы народов. Глубокая нравственная история (самая существенная из всех историй) совершается в народе; он переживает периоды утомления, энтузиазма, религиозных и политических волнений. Все это отражается на ходе мысли, окрашивает ее в известные цвета. Поэтому нам кажется не совсем справедливым, когда философские учения выводятся прямо из других предшествующих. Развитие не имеет здесь такой строгости. Так, например, нам кажется очень несправедливым вывод теперешнего немецкого материализма из гегельянства⁶. Материализм есть следствие упадка высших духовных интересов, есть *понижение ума*, а понижение есть отрицательное явление, которое, как все такие явления, не требует необходимо положительных причин для объяснения. Причина этих низших явлений есть только *отсутствие* высших. Человек утомленный засыпает, все равно чем бы он ни был утомлен. Так и ум постоянно впадает в материализм, когда начинает слабо действовать. Так было после Декарта, потом после Локка, и точно тоже случилось после Гегеля⁷.

Таким образом, если мы обратимся к тому перевороту в науках, о котором повели речь, то будем иметь некоторое основание предполагать в нем участие тех нравственных и философских перемен, которые случились в Европе со времен Кювье. Тогда нам объяснится, почему этот переворот случился так быстро, и почему так долго держались прежние мнения, по-видимому, *ни на чем не опиравшиеся*.

V

Чтобы уяснить нравственную силу и состоятельность, которую могут иметь понятия совершенно фантастические, возьмем небольшой пример.

Положим какого-нибудь человека убило громом. Во времена суеверий благочестивые люди подумали бы, что за этим человеком, вероятно, есть какая-нибудь тяжкая вина, может

быть, никому неведомая, что эта вина, однако же, не укрылась от всевидящего божества, и что оно в гневе направило своею рукою громовую стрелу на виноватого и таким образом покарало его. Теперь мы знаем, что все это неверно, что невинный может быть убит громом, как и виноватый, что не божество бросает стрелы молнии, а направляются они слепую силою электричества, и что смерть человека, следовательно, есть простая, чистая случайность. Этими открытиями, как известно, чрезвычайно гордился XVIII век⁸; подобную гордость возбуждало разве только доказательство вращения Земли около Солнца.

Между тем, если мы будем рассматривать факт – смерть человека от грома – во всей его целостности, то увидим, что наше новое о нем понятие не заключает в себе ничего радостного. Старое понятие есть полное решение дела, а новое – только возбуждает вопрос. Старое неверно, но совершенно ясно; новое верно, но приводит нас в совершенное недоумение, обдаёт нас тьмою. Ибо старое утверждает, что в этой смерти есть смысл; новое же доказывает, что она есть совершенная бессмыслица.

В самом деле, мы невольно спрашиваем: за что и для чего убит человек? Если цель и смысл жизни, как нынче говорят, есть наслаждение ее благами, то почему эта цель не достигнута и этот смысл уничтожен? Этот человек имел, говоря нынешним языком, все *права* на жизнь, не был ни в чем виноват, мог быть полезен для общества, нужен для семейства, – спрашивается, зачем же совершилась такая жестокая бессмыслица? Если мы подумаем, что жизнь величайшего гения точно так же висит на волоске, как и жизнь всякого человека, что игра случайностей действует ежедневно, ежеминутно, что против нее нет никаких сил и средств, то мы вместо радости об открытии электричества можем впасть в самый мрачный пессимизм. (Читайте на эту тему Паскаля.) Всего не откроешь и ото всего не оградишься. Вечный обман, в котором мы живем, не думая о завтрашнем дне, не чуя грядущих бед, покажется противным, если в него вдуматься серьезно.

Между тем, в старом понятии какое чудесное сочетание оптимизма с пессимизмом в самой надлежащей мере! Грозное божество постоянно видит человека и может его убить. Но если убьет, то в этом будет смысл, то это будет совершенно с строжайшею справедливостью. Смысл явлению дан полный – вот что важно для человека.

⁵ *Россия и Европа*. СПб., 1871.

⁶ Страхов делает намек на представления публициста и богослова А.С. Хомякова (1804–1860) (*Ред.*).

⁷ Речь идет о развитии материалистических идей в так называемую эпоху Просвещения во Франции и Англии (*Ред.*).

⁸ Имеется в виду эпоха Просвещения (*Ред.*).

Может быть, читатели, привыкшие к мысли об общих законах природы, найдут, что смерть отдельного человека не требует особого объяснения, что раздавить человека природа имеет такое же право, с каким мы давим муравья, ползущего по дорожке; но заметим, что когда число гибнущих людей увеличивается, то мы неудержимо стремимся к тому самому объяснению, которое отвергается нашими физическими познаниями. Когда целая страна, как например Франция, покрыта кровью и пламенем, то мы непременно хотим видеть здесь кару за что-то, не за плохие знания или неудачные распоряжения, а именно за некоторую нравственную вину. Между тем, что доказывает такую вину? Почему не предположить, что бедствия Франции зависят от случайного сочетания некоторых элементов, не имеющих ничего общего с нравственностью? Но мы во что бы то ни стало желаем думать, что жизнь народов управляется нравственными началами. А если так, то почему этими началами не может управляться жизнь отдельного человека? Или наоборот, почему не предположить, что гибель всего человечества могла бы произойти так же случайно, так же бессмысленно, как отдельная смерть? (Читайте Герцена.)

Итак, мы можем назвать легкомысленным физика, который, дав свое объяснение, не замечает вытекающих из него трудных вопросов, и можем понять, почему составилось и долго держалось фантастическое объяснение, которое эти вопросы разрешает.

VI

Подобное рассуждение можно сделать и при сравнении мнений Кювье и Дарвина о видах.

Взгляд Кювье на постоянство видов и на их отдельное создание можно формулировать таким образом:

Прежде всего существовало и выше всего существует верховное существо, совмещающее в себе все совершенства – Бог. Организмы созданы этим существом, именно так, что каждый вид получил от начала все свои существенные свойства, сохраняемые им потом неизменно. «Видов, – говорил Линней, – столько, сколько Бог создал различных форм». Каждый вид организмов представляет строгую гармонию между органами, составляющими его тело; каждый вид имеет, кроме того, гармонию с окружающей его природой. Без той и другой гармонии вид не мог бы существовать, и обе они – предустановлены, устроены божественным творчеством.

Вот понятия, которые можно считать неверными, но которые никто не назовет неясными или неудовлетворительно отвечающими на во-

прос. Если мы признаем их, то нам останется только изучать и понимать свойства организмов, а вопрос о том, как они могли явиться, уже не будет затруднять нас. Органический мир есть высшая часть природы; он исполнен такого разнообразия, такой красоты, такого глубокого смысла, как ничто другое; во главе его стоит человек, чудеснейшее из всех созданий, величайшая загадка, воплощенный дух. Но какие бы чудеса мы ни находили во всем этом, нас не будет приводить в недоумение вопрос, как и откуда они могли возникнуть. Ибо источник их есть существо, в котором нет меры всякому совершенству, всему, что можно назвать хорошим и высоким. То, что мы видим в организмах, есть лишь частица, даже очень малая, этих совершенств.

Понятия Кювье составляют лишь частное приложение того взгляда, который содержится вообще в веровании в Бога. Взгляд этот предполагает, что все достоинства, какие мы находим в мире и его вещах, существовали прежде мира и вещей, что источник мира уже заключал их в себе.

А если мы сделаем еще шаг в обобщении, то получим уже несомненную аксиому, именно: причины должны содержать в себе то, что является в их следствиях. Из ничего ничего не бывает; мир, который мы знаем, едва ли исчерпывает ту сущность, которой он есть проявление.

Взамен этих понятий, что же нам предлагает Дарвин? Внутреннее стремление его теории, очевидно, состоит в том, чтобы объяснить устройство и разнообразие организмов – *случайностями*, то есть не предполагать в этом деле никакого предустановленного плана, никакой причины, предшествующей явлениям и заключающей в себе их смысл. Так точно, греческие атомисты пытались объяснять весь мир как порождение случайного столкновения и скопления атомов в пространстве.

По Дарвину, появились сперва простейшие организмы: откуда? – на этом вопросе он не останавливается и даже положительно отвергает произвольное зарождение, которое, по видимому, подходило бы к складу его теории. Немногие первоначальные организмы стали изменяться и разнообразиться; ибо изменчивость, по Дарвину, есть общее свойство организмов. Причины и законы, по которым изменяются организмы, нам мало известны, и Дарвин неоднократно настаивает, что это область весьма темная, почти вовсе неведомая. Но вот что ясно и что составляет сущность теории. Изменения, которым подвергаются организмы в силу многочисленных и неизвестных причин, бывают *выгодные* и *невыгодные* для организмов. Эта вы-

годность и невыгодность есть дело совершенно случайное для каждого существа; она зависит от сочетания внешних обстоятельств, среди которых живет организм, и от сочетания других организмов, которые живут вместе с ним. И вот от этой-то, совершенно случайной для организма, выгоды или невыгоды изменения, в нем происшедшего, зависит все разнообразие животной и растительной жизни. Выгодные изменения остаются, укрепляются, образуют новые виды; невыгодные истребляются. Этот процесс называется борьбой за существование.

Так дело продолжается миллионы лет; разнообразие и осложнение растет по мере того, как новые и новые сочетания случайностей оказываются благоприятными для постоянно изменяющихся организмов. Организмы, так сказать, формируются, вылепливаются по тем впадинам, которые случайно представляет окружающая их природа. Дарвин весьма сильно настаивает на том, что организмы подаются, так сказать, во все стороны; но форма, которую они могут принять и удержать, определяется не какими-либо их внутренними законами, не общим планом и т.п., а только и единственно теми свободными местами, которые окажутся в тесно обнимающем их и постоянно их давящем мире существ, как однородных с ними, так и совершенно от них отличных.

Вся прелесть, вся привлекательность этой теории заключается, как это прямо говорят ее приверженцы, именно в том, что не нужно предполагать никакой внутренней причины, по которой та или другая черта устройства существует в организме: основание для этого было внешнее, постороннее – случайное стечение обстоятельств.

Так произошел наконец и человек; его устройство и все, что мы в нем называем красотой, благородством, духовностью, есть лишь отражение некоторых, не следующих никакому закону, не образующих никакого целого, случайностей, среди которых развивалось животное царство.

VII

Теперь мы можем видеть, в чем заключается главная сила Дарвиновой теории и в чем ее главная слабость. Сила ее в том, что она обращает явления в *случайные*, и следовательно, делает ненужным объяснение их из более высокого источника, *отрицает* такой источник. При всяком вопросе ничего не бывает яснее и проще, как отрицание самого основания вопроса; тогда ум успокаивается, не видя перед собой задачи. Так вопрос о философии очень упрощается, если мы убедимся, что всякая философия есть вздор, бес-

содержательные хитросплетения; вопрос о Пушкине нимало не затруднит нас, если признаем, что поэзия – пустые побрякушки, не стоящие внимания; вообще, вопрос о всяком великом человеке получит самое удовлетворительное разрешение, если мы поверим, что это был обыкновенный человек, лишь случайно попавший в необыкновенное стечение обстоятельств.

Есть люди, которым подобные объяснения очень нравятся; они с жадностью ищут их повсюду и схватывают именно эту сторону во всех фактах. И нет сомнений, что действие ума здесь очень правильное, строго логическое. В естественных науках оно выразилось в знаменитом правиле: *без необходимости не должно увеличивать число сил, число начал для объяснения*⁹.

Слабость же теории Дарвина заключается в том, что она, как и все теории, где главная роль дана случайности, не может объять предмета во всем его объеме, и не объясняет самой существенной его стороны. Подобные теории всегда только *отодвигают* вопросы, но не разрешают их, и в этом отношении их нужно причислить вполне к той *отрицательной* работе ума, которая разрушает скороспелые обобщения и построения, но не заменяет собою и не может заменить положительной работы.

Главное возражение, которое нужно сделать против Дарвина, будет такое:

Объяснить происхождение организмов – значит объяснить все их свойства, всю сущность. Каждая вещь потому имеет известные свойства, что известным образом произошла, и обратно, она потому не могла произойти иначе, что имеет такую, а не другую природу. Итак, нужно взять природу организмов, ее существенные черты, и потом уже искать способа, каким могла возникнуть именно такая природа, именно эти черты. Какие же существенные черты представляют нам организмы? Размножение, наследственность, развитие, смерть; постоянное взаимодействие органов между собою и с внешним миром; половое различие, различие животных и растений, разные типы и группы, отличающиеся резким своеобразием; в животных – чувствительность и произвол и принимают тысячи более и более совершенных форм; чувствительность достигает разнообразия и совершенства пяти чувств; являются инстинкты, страсти, ум; нако-

⁹ В Средние века это правило было названо «Бритвой Оккама», по имени сформулировавшего его схоласта, жившего в первой половине IV века. Формулировка Оккама звучала следующим образом: «Principia non sunt multiplicanda», то есть принципы не следует множить без необходимости (*Ред.*).

нец, высший организм, человек, представляет явления столь высокие и трудные, что глубже и существеннее мы ничего и не можем полагать; для человека он сам – конец и источник всех вопросов.

Вот что, в той или другой мере, в полном или частном объеме, должен объяснить нам тот, кто берется говорить о происхождении организмов. Дарвин отчасти видел такую постановку задачи, предчувствовал ее обширность. В самом начале своей книги «О происхождении видов» он говорит:

«Натуралисту, размышляющему о происхождении видов и соображающему взаимные родство органических существ, их эмбриологические отношения, их географическое распределение, геологическую последовательность их появления и другие подобные факты, легко прийти к заключению, что каждый вид не был создан отдельно, но что все они произошли как разновидности от других видов. Тем не менее, такое заключение, *даже если оно и основательно, не может удовлетворить нас*, пока мы не объясним себе, каким способом бесчисленные виды, населяющие землю, были видоизменены до *того совершенства* в строении и в взаимных приспособлениях, которое так справедливо *восхищает нас*»¹⁰.

Совершенно верно; то именно, что всего больше *восхищает* нас, то и составляет главную сторону задачи, существенный предмет нашего любопытства. А что же сделал сам Дарвин? Применяя к его теории его же слова, мы можем сказать так:

«Натуралисту, принявшему все гипотезы и объяснения Дарвина, конечно, легко будет признать, что все виды подвергались *каким-нибудь* изменениям, что должно было происходить *какое-нибудь* дифференцирование, и что те приспособления, которые *случились*, должны были укрепляться и господствовать в силу борьбы за существование; но такое заключение, даже если бы оно было вполне основательно, не может удовлетворить нас, пока теория не объяснит нам, *какие именно* изменения были претерпеваемы видами, *по каким законам* совершалось дифференцирование и каким образом получились именно те удивительные приспособления и удивительные свойства организмов, которые мы знаем, а не какие-нибудь другие».

В самом деле, теория Дарвина не рисует нам никакой картины растительного и животного царства, не дает даже ни единой из главных черт

этой картины; она не объясняет ни наследственности, ни полового различия, ни чувствительности, ни типов растений и животных, словом ничего частного и определенного, заключающегося в организмах. Как же можно сказать, что она объясняет происхождение видов?

Нам говорят, что человек произошел от обезьяны; положим. Из глины или от обезьяны – нам все равно, если объяснение будет совершенно удовлетворительно. Но по книжке Дарвина ведь выходит, что человек произошел от обезьяны точно так, как один вид инфузорий от другого вида инфузорий или, пожалуй, как одна обезьяна от другой: вот с чем согласиться невозможно, так как для нас ясно, что человек есть совершенно особое существо в природе, имеет зачатки свойств, коренным образом расходящихся с животностью, и следовательно, его происхождение, каково бы оно ни было, есть величайшее чудо, такой скачок, такой переворот, которому равного и подобного не представляет вся остальная история земной природы. Уловить всю особенность, всю индивидуальность этого переворота – вот настоящая, правильная задача. А если мы этого не понимаем, если для нас совершенно неизвестно и незанимательно, чем человек отличается от обезьяны, то, конечно, нам не будет затруднительно признать и твердить, что он от обезьяны происходит; да только что же толку в подобном заключении, когда оно дела нимало не поясняет и не исчерпывает?

Так точно и вообще Дарвинова теория не уясняет вполне и не исчерпывает содержания и разнообразия животной и растительной жизни. Она основывается на некоторых действительно *органических явлениях*, каковы – размножение, борьба за существование и смерть; но и эти черты едва ли поняты в их настоящем, живом смысле. Так, например, смерть всегда играет у Дарвина роль события случайного для самого организма. Невыгодные изменения, по его теории, изгоняются с лица Земли насильственно; виды исчезают от голода или от преследования хищных врагов, зловредных паразитов и т.п. Между тем, судя по аналогии, нельзя допустить этого. Конечно, всякий организм может быть умерщвлен насильственно, и, вероятно, большая часть их именно так умирает. Но такая смерть есть *случайность*, не вытекающая из устройства и развития организма, и следовательно, если бы все организмы так умирали, то физиология имела бы одной задачей меньше, – именно, вовсе не нужно было бы объяснять, почему организм после известного времени умирает без всякого внешнего повода, без всякой перемены во внешних обстоятельствах? Дарвин, чтобы избежать необходимости ор-

¹⁰ О происхождении видов, с. 2.

ганического объяснения вымирания видов, принимает для них везде механическую смерть. Но, так как для нас несомненно существование так называемой *естественной смерти* отдельных организмов, то мы должны предположить, что и при развитии видов происходило естественное вымирание. Некоторые фазисы жизни, так сказать, *отжигали*; они исчезали не чем-либо теснимые, а сами собою.

Мы ограничимся этими общими замечаниями, в которых старались показать, что начала, принимаемые Дарвином, недостаточны для предмета, теорию которого он задумал построить. Не странно ли, что новые натуралисты обратили так мало внимания на эту очевидную скудость начал, что они так обрадовались, так заторопились и провозгласили победу, не имея на то достаточных оснований? Им нужно было не объяснение дела, а ка-

кая-нибудь теория, поскорее нужен был новый авторитет, новое имя, новое знамя. Следовательно, *переворот в науке* произошел не в строгом соответствии с развитием науки, а подгоняемый посторонними влияниями. Не наука внезапно повернула в другую сторону, а натуралисты.

И мы знаем, какое главное влияние содействовало перевороту: это был материализм, или, если взять дело общее, это было то направление мыслей, которое можно назвать *европейским нигилизмом*, и которого наш нигилизм есть частное отражение, очень своеобразное и может быть наиболее резкое из всех. Нигилизм же есть явление преимущественно нравственное, отнюдь не голое умственное заблуждение. И следовательно, мир ума и науки оказался в настоящем случае подчиненным миру нравственному – что и доказать надлежало.

Глава вторая Последователи и противники¹¹

Путаница в умах. – Геккель. – Механическое объяснение происхождения видов. – Роста и наследственности не объясняет Дарвин. – Целесообразность. – Слова Гельмгольца. – Агасиз. – Бэр. – Заметка о переводах.

I

Русский перевод главного сочинения Дарвина вышел уже третьим изданием. Другое его сочинение, «О происхождении человека», появилось у нас, как известно, в трех переводах разом. Итак, Дарвин у нас популярный писатель; он читается не только специалистами, а массою публики, людьми, питающими притязание на образованность и просвещение. К сожалению, никак нельзя радоваться подобному распространению *любви к серьезному чтению*; нынешняя страсть к Дарвину есть явление глубоко фальшивое, чрезвычайно уродливое. Дарвин, по-видимому, пишет ясно и отличается большою точностью и простотою выражений; но нельзя сказать, чтобы он писал толково; он не указывает хода своих мыслей, их отношения к существующим понятиям, их точного объема. Два его сочинения «О происхождении видов» и «О происхождении человека» имеют совершенно неправильное загла-

вие; они никакого происхождения не объясняют; первое приличнее было бы назвать трактатом о *вымирании видов*, а второе о *чертах сходства*, существующего между человеком и животными.

Как бы то ни было, путаница в умах читателей, возбужденная Дарвином, невероятно велика; это один из самых жалких примеров уродливостей, порождаемых наукою, когда она перестает быть делом строгого исследования. Естественно, что в массе публики вопросы ставятся грубо, резко, господствуют предрассудки, действует авторитет, и вот, учение нетвердое и одностороннее возводится на степень доказанной истины и набирает множество приверженцев, которые верят не тому, что им доказано, даже не тому, что заключается в словах их авторитета, а собственным своим выдумкам.

Относительно Дарвина можно сказать, что его не знают и не понимают не только обыкновенные читатели, но и сами ученые, ставшие его последователями. В Германии самый известный из дарвинистов есть некто *Геккель*, автор многих объемистых ученых сочинений. Между тем, его понимание Дарвиновой теории ужасно по своей грубости. Вот, например, как он излагает сущность дела:

«Необыкновенная заслуга *Дарвина*, которого сочинение “О происхождении видов” вдруг возбудило к новой сильной жизни совершенно за-

¹¹ **О происхождении видов.** Сочинение *Чарльза Дарвина*. Перевел с английского *С.А. Рачинский*. Издание третье, исправленное. Москва, 1873.

Zum Streit über den Darwinismus. Von *K.E. von Baer* (aus der «Augsburger Allgemeinen Zeitung»). Dorpat, 1873. (*К спору о дарвинизме*. К.Э. Бэра. [Из «Всеобщей Аугсбургской Газеты».] Дерпт, 1873.)

молкшую *теорию перерождения*, состоит не только в том, что он изложил ее обширнее и полнее своих предшественников и вооружил ее всеми собранными до сих пор доказательствами разных отраслей зоологической и ботанической науки¹². Еще большая заслуга великого английского натуралиста состоит в том, что он в первый раз создал теорию, которая *объясняет механически процесс происхождения видов*, то есть сводит его на химические и физические причины, на так называемые слепые, бессознательные и без плана действующие силы природы. Эта теория, составляющая венец и довершение всего здания механического понимания природы, есть учение о естественном подборе¹³.

Слепые, бессознательные и без плана действующие силы природы, которые, как доказывает Дарвин, составляют естественные действующие причины всех сложных и, по-видимому, столь целесообразно устроенных форм в животном и

¹² Похвала, как мы увидим, несправедливая.

¹³ Такой взгляд свойствен не Ч. Дарвину, а самому Э. Геккелю. По Дарвину, силы природы, обуславливающие эволюцию, вложены в нее Творцом. Органические формы, пишет Дарвин, «столь различные одна от другой, были созданы благодаря законам, еще и теперь действующим вокруг нас. Эти законы есть в самом широком смысле рост и воспроизведение; наследственность, почти необходимо вытекающая из воспроизведения; изменчивость, зависящая от прямого или косвенного действия условий жизни или от упражнения и неупражнения; прогрессия размножения, столь высокая, что она ведет к борьбе за жизнь и ее последствию – естественному отбору, влекущему за собой расхождение признаков и вымирание менее совершенных форм. <...> Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в одну или незначительное число форм; и между тем как наша планета продолжает описывать в пространстве свой путь согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала возникли и продолжают возникать несметные формы, изумительно совершенные и прекрасные» (Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2017. – С. 699). Иными словами, по Дарвину, естественный отбор осуществляет никто иной как премудрый Господь Бог через созданную им систему сил, действующих во Вселенной. Интересно, что эта мысль появилась в записных книжках дипломированного богослова Ч. Дарвина лет за 20 до публикации «Происхождения видов». Такая трактовка эволюционного процесса, несмотря на свою уозость, вполне совместима с христианством, за исключением некоторых откровенно мракобесных течений, опирающихся на буквальное толкование Библии (Ред.).

растительном царстве, суть жизненные свойства *наследственности* и приспособления или *изменчивости*. Оба эти жизненные свойства принадлежат всем организмам без исключения и составляют лишь особые обнаружения или частные явления двух других, более общих жизненных деятельностей, отправлений *размножения* и *питания*, и именно – приспособление тесно связано с питанием, а наследственность с размножением. Но так как *все явления питания и размножения суть чисто механические процессы природы и производятся только одними физическими и химическими причинами*, то это же нужно сказать и об их частных явлениях, об отправлениях приспособления и наследственности. Исключительно только взаимодействие этих отправлений и те внешние обстоятельства, под влиянием которых совершается это взаимодействие, – суть причины органических образований и преобразований» (Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts. Dr. Ernst Haeckel. Berl., 1868. S. 23, 24).

Вот изложение, против которого должен бы жестоко вооружиться сам Дарвин, если бы заботился о точном смысле своей теории, а не об одной известности, не об одном приобретении поклонников, каковы бы они ни были. Но против слов Геккеля вооружится и всякий физик, всякий физиолог. Как? – наследственность и изменчивость суть *силы природы!* Большой бессмыслицы в употреблении слова сила еще не бывало. «Питание и размножение суть чисто механические процессы»; но кто же и когда это доказал? Какой физиолог не скажет, что не сделано ни шагу для этого доказательства? И Дарвин, выдумавший для объяснения роста и размножения организмов особую гипотезу *пангенезиса*, не должен ли прямо сказать, что он понимает питание и размножение никак не механически, а скорее чисто органически?

Мысль Дарвина очевидно получила у Геккеля самый превратный смысл. Но мы видим отсюда, чего бы хотелось Геккелю и почему как он, так и множество других стали такими ревностными приверженцами Дарвина. Дарвин сделал только шаг к устранению понятия *целесообразности* в организмах; он вовсе не проповедовал *слепых, механически действующих сил изменчивости и наследственности*, а только попытался свести чудесное устройство организмов на случайное приспособление. Но его последователи уже трубят, что здание механического взгляда на природу закончено и увенчано, что найдены силы, объясняющие все формы организмов.

Ничего не найдено, и ничего не объяснено. В том главном сочинении Дарвина, заглавие кото-

рого стоит в начале нашей статьи, он не говорит ни единого слова, которое имело бы целью объяснение роста и наследственности. И вообще этого объяснения нет нигде в его сочинениях, кроме предпоследней, XXVII главы его сочинения «The variation of animals and plants»; а в этой главе он объясняет рост и наследственность не механически, а посредством гипотезы, состоящей из очень хитрого и невероятного усложнения *органических* процессов. Так что Дарвин и не думал, и не мог говорить такой глупости, что рост и наследственность суть механические силы природы, не думал и не мог говорить, что он объяснил эти явления как механический процесс.

Но если так, то что же сделал Дарвин? Оказывается, что это гораздо труднее понять, чем обыкновенно думают. И в самом деле, его последователи большей частью защищают не его мнения, а свои собственные, и его противники нападают на то, чего он вовсе не думал. Чтобы кратко указать, в чем состоит действительная мысль Дарвина, мы приведем слова Гельмгольца, старшего, в одной из своих речей, объяснить, что нового внес в науку Дарвин.

«Теория Дарвина, – говорит Гельмголец, – сделала возможным совершенно новое объяснение *органической целесообразности*.

Эта замечательная и с развитием науки все более и более раскрывавшаяся целесообразность в строении и отправлениях живых существ была главной причиной, побудившей сравнивать жизненные процессы с действиями сознательного и разумного принципа. Мы знаем во всем окружающем нас мире только один ряд явлений, имеющих подобный характер, – именно действия и создания разумного человека; и мы должны признать, что во множестве случаев целесообразность органического мира настолько превосходит способности человеческого разума, что ей можно приписать скорее высшие, чем низшие свойства.

До Дарвина известны были только два объяснения органической целесообразности, которые оба предполагали вмешательство свободного разума в ход естественных процессов. Первое объяснение, совпадающее с виталистической теорией, предполагает, что все жизненные процессы управляются постоянно *жизненной душой*; другое же объяснение прибегает к сверхъестественному разумному существу, творческий акт которого произвел в отдельности каждый существующий вид организмов. Последнее воззрение, хотя и принимает более редкие нарушения законной связи естественных явлений и позволяет относиться строго научным способом к тем процессам, которые наблюдаются в живущих теперь

органических видах, но и оно не могло вполне устранить всякое нарушение естественной закономерности, и поэтому едва ли имеет значительное преимущество сравнительно с виталистическим воззрением, которое, с другой стороны, имеет сильную поддержку в естественном стремлении человека – за одинаковыми явлениями искать одинаковых причин.

Теория Дарвина заключает в себе существенно новую плодотворную идею. Она показывает, как целесообразность в строении организмов *может произойти* безо всякого вмешательства внешнего разума, единственно через необходимое действие закона природы, – именно закона наследственности индивидуальных особенностей, – закона давно известного и признанного, но нуждавшегося в более определенном формулировании» («Беседа», 1871, июнь, с. 265, 266).

Итак, вот в чем дело, вот узел вопроса. Главный вес и смысл Дарвиновой теории заключаются в отрицании *целесообразности* организмов, в предположении, что эта целесообразность произошла от накопления *случайных* изменений, оказавшихся выгодными для существ, в которых эти изменения случились. Рост и наследственность не объясняются в этой теории, а *предполагаются*, как данные явления, из которых нужно объяснить остальные. Дарвин собственно стремится свести сложные и частные органические явления на более простые и общие, на изменчивость и наследственность. Но так как он не знает, в чем состоит сущность этих простейших явлений, то он и не мог сделать этого сведения надлежащим образом, а прибегнул к уловке, состоящей в *отрицании* того, что требуется для объяснения. Дарвин предполагает собственно, что наследственность и изменчивость не следуют *никаким законам*, движутся по *всевозможным* направлениям, и что правильность и целесообразность получаются только от исчезания форм, не могущих выдержать *борьбы за существование*. Вот почему, всякий закон, открываемый в явлениях изменчивости и наследственности, ведет к опровержению теории Дарвина. Сила этой теории, вся ее привлекательность для умов, заключается именно в предположении *отсутствия законов*, в сведении явлений на игру случайностей.

Простодушные читатели часто думают и говорят, что Дарвин что-то *доказал* или *открыл*, или *опроверг*; между тем ничего подобного об нем сказать нельзя; он только внес в эту область естественных наук свой взгляд, *идею случайности*, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своим отрицательным характером, освобождением от других идей. Что же

касается до фактов, то они остались те же, как и были, – загадочные, бесконечно таинственные и сложные; объяснить их смысл еще никому не дано; можно только отрицать его – что и сделал Дарвин.

II

В маленькой брошюре знаменитого Бэра, отца научной эмбриологии, приводится отзыв Агасиза¹⁴, что дарвинизм есть *целое болото голословных утверждений*. «Конечно, – говорит Бэр, – это очень жестко; но беда в том, что эта жесткость высказана натуралистом, которого никто не может упрекнуть в неспособности к общим идеям, и который сверх того обладает основательнейшими сведениями в палеонтологии, в истории развития и в сравнительной анатомии, то есть именно в областях науки наиболее нужных при решении вопроса о филогенетическом развитии животных форм» (с. 5).

Сам Бэр очень хорошо видит, в чем заключается узел Дарвиновой теории, зерно ее силы, и весьма остроумно рассуждает об этом.

«В чем состоят, – спрашивает он, – те условия, которые, по теории Дарвина, должны нам объяснить целесообразность устройства органических тел? Конечно, в том, что все менее целесообразное в формах, происшедших от бесконечно продолжающейся изменчивости, уничтожается *в борьбе за существование*? Смутно припоминается мне при этом, что я уже когда-то читал или слышал о попытке достигнуть целесообразного, и даже глубокомысленного, посредством исключения всего негодного, производимого случайной изменчивостью. Это смутное воспоминание я стараюсь перетянуть за *порог сознания*, и вот оно встает передо мной живо и ясно! В Академии города Лагадо¹⁵, некоторый философ, основываясь на верной мысли, что всякая достижимая для людей истина может быть выражена только словами, написал все слова своего языка во всех их грамматических формах на сторонах кубиков, и выдумал машину, которая не только переворачивала эти кубики, но и

ставила их в ряд. После каждого поворота машины, слова, показывавшиеся рядом, прочитывались, и если три или четыре слова имели вместе какой-нибудь смысл, они заносились в книгу, чтобы таким образом достигнуть всевозможной мудрости, которая ведь ни в чем ином не могла выразиться кроме слов. Таким образом, исключение негодного было тоже механическое и совершалось несравненно быстрее, чем в борьбе за существование. Но чего же этим достигли с течением времен? К сожалению, известий об этом у нас нет. Единственный историк Академии Лагадо есть Гулливер в своих путешествиях к отдаленным народам, именно в третьем путешествии. В то время, как он был там, уже было наполнено отдельными изречениями несколько фолиантов, но предполагалось, в интересе общества и ради его просвещения, построить и привести в действие 500 таких машин на казенный счет. Долго принимали этого рассказчика за шутника, так как само собой разумеется, что целесообразное и глубокомысленное никак и никогда не может возникнуть из случайных частных, но уже с самого начала должно быть мыслимо как нечто целое, хотя и способное к усовершенствованию. А вот теперь мы должны признать, что этот философ был глубокий мыслитель, что он предвидел нынешние триумфы науки!» (с. 6, 7).

Так говорит гениальный старец, который – удивительно подумать – *пятьдесят лет тому назад* основал научную эмбриологию. Не без горького чувства он видит, что то великое движение идей, которое воодушевляло его юность и привело его к созданию новой науки, – теперь иссякло, что прежде чем оно принесло плоды, которых от него ждали, произошел наплыв новых идей, в борьбе с которыми широкие и величавые идеи былого времени обнаружили странное, поражающее бессилие. Зрелище чрезвычайно поучительное для того, кого интересует история идей и развитие наук. Из брошюрки мы узнаем, что Бэр пишет против дарвинизма и что все его статьи, относящиеся к этой полемике, и уже явившиеся, и еще приготовляемые, будут напечатаны во втором томе *Reden und Aufsätze* (речи и статьи), – сборника, которого первый и третий том уже вышли.

* * *

Скажем теперь несколько слов о русских переводах Дарвина. Дарвин у нас переводится и издается с такою небрежностью, которая странно противоречит великому уважению, по-видимому, питаемому к нему и переводчиками, и публикою. Из всех переводов и изданий мы не знаем ни одной книги Дарвина, которую можно бы было удобно читать по-русски. Лучшим еще

¹⁴ Луи Агасиз, или Агассис (1807–1873) – выдающийся швейцарский и североамериканский натуралист, сравнительный анатом, зоолог и палеонтолог, влиятельный оппонент теории Дарвина (*Ред.*).

¹⁵ Лагадо – столица воображаемого королевства Бальнибарти, которую посетил во время своих путешествий главный герой романа Д. Свифта «Путешествия Гулливера» (1726). Название королевской академии наук «Академия Лагадо» употребляется в насмешку для обозначения различных собраний псевдоученых (*Ред.*).

можно считать перевод о *происхождении видов*, хотя и тут читатель на каждой странице спотыкается о такие обороты:

«Весьма сожалею, что недостаток места лишает меня *удовлетворения выразить* мою признательность» и пр. (с. 2).

«Не могу удержаться от того, *чтобы привести* еще пример» и пр. (с. 57).

«Один полновесный авторитет, сэръ Чарльз Лейелль, *по дальнейшему размышлению* впал на этот счет в сильные сомнения» (с. 233).

Это совсем не по-русски. Но есть и такие места, где нескладница происходит от слишком большого усердия переводчика к русскому языку. Например:

«Нет непогрешимого *ведала* для распознавания вида от резкой разновидности» (с. 44).

Имя существительное *ведало* встретилось нам в первый раз в этой книге; оно, очевидно, должно заменить слово *критерий*, которое переводчик нашел помехою для ясности и красоты русской речи. Точно так из нового третьего издания он изгнал даже слово *натуралист* и заменил его будто бы более благозвучным и понятным словом *естествоиспытатель*. Вот труды по истине напрасные! Уж если вы так любите русский язык, то прежде всего и больше всего старайтесь сохранить его строй, русский синтаксис, позаботьтесь о том, чтобы согласование слов и течение речи было точно, живо и ясно; а

отдельные иностранные слова есть самое меньшее из зол, возможных в русской книге. Притом *натуралист*, *критерий* не суть английские слова, а слова всемирные, которые поэтому должны употребляться в каждом образованном языке. Напротив, если вы английское слово *satisfaction* переведете буквально «удовлетворение», то вы сделаете англицизм, который ни в русском и ни в каком другом языке терпим быть не должен.

В новом издании, хотя оно именуется *исправленным*, кажется не сделано никакого исправления, кроме изгнания слова *натуралист*: ошибки, которые мы привели, повторены в третьем издании в том самом виде, как они явились в первом. Опечатками новое издание кишит гораздо более первого.

Мы боимся утомлять читателей указанием замеченных нами сверх того неточностей, пропущенных слов, неправильной передачи терминов и т.д. Но упомянуть об этих неисправностях считаем своим долгом. Горький опыт убедил нас, что вообще изучать Дарвина по русским переводам невозможно, что очень часто встречается надобность обращаться к подлиннику. Мы знаем, что хорошие переводы вообще большая редкость и всегда были редкостью не в одной нашей, но и во всякой другой литературе; все-таки нельзя не пожалеть, что Дарвину не более посчастливилось в русской литературе.

(1872–73 гг.).